

Глеб Иванович Успенский

Малые ребята



Глеб Успенский
Малые ребята

«Public Domain»

1880

Успенский Г. И.

Малые ребята / Г. И. Успенский — «Public Domain», 1880

«...Прежде всего необходимо объяснить причину происхождения в Иване Ивановиче такой «особенной» заботливости о собственных детях; необходимо потому, что – надо говорить правду – было время, когда Иван Иванович не блистал ни чадолубием, ни «заботливостью» в той степени, в какой блещет он и тем и другим в настоящее время. Правда, он всегда был добрый и ласковый отец; но чтобы так обременять себя вопросами, касающимися иногда самых мелких сторон детской жизни, детской души, детского будущего, – этого не было и в помине. Говоря откровенно, происхождение этой заботливости находится в тесной связи с одним не столько неприятным, сколько неожиданным эпизодом, случившимся в жизни Ивана Ивановича несколько лет тому назад. ...»

© Успенский Г. И., 1880

© Public Domain, 1880

Содержание

I	5
II	8
III	11
IV	13
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Глеб Иванович Успенский

Малые ребята

I

Один из моих давнишних знакомых, некто Иван Иванович Полумраков – чиновник, занимающий в настоящее время довольно видное место в одном из петербургских министерств, «устраивающих», созидających, направляющих и руководящих, – пораздумавшись в свободную от всей этой массы работ, конечно на пользу блага отечества, минуту – вообще о *подлинном* положении дел в этом самом отечестве – невольно почему-то начинает печалиться и трепетать перед участью своих собственных детей. Много, очень много мотивов, заставляющих Ивана Ивановича непременно сокрушаться об этой участи, возникали в его голове при этих размышлениях; но мы не будем утомлять читателя перечислением этих многочисленных мотивов скорби, а только остановимся на той же самой теме, которая волнует и не одного Ивана Ивановича Полумракова.

Много на своем веку приходилось мне встречать чадолюбивых родителей, но Иван Иванович отличается от них не столько особенностью в чадолюбии, сколько именно озабоченностью, повидимому не дающею ему покоя, над разрешением вопросов о том, что нужно детям образованного или более или менее обеспеченного человека в предстоящей им жизни? чему учить? к чему готовить? в каком направлении вести нравственное развитие?

Автор этого очерка, имея намерение сказать несколько слов о том подрастающем поколении, которое в настоящее время, сидя на стуле, еще не достает ногами до полу, не может оставить без некоторого внимания такого «озабоченного» тем же вопросом родителя, как Иван Иванович Полумраков, тем более что «озабоченность» его не ограничивалась только размышлениями, умозаключениями и т. д., но выражалась и в некоторых опытах, на деле пояснявших то, до чего Иван Иванович доходил путем продолжительных размышлений.

Прежде всего необходимо объяснить причину происхождения в Иване Ивановиче такой «особенной» заботливости о собственных детях; необходимо потому, что – надо говорить правду – было время, когда Иван Иванович не блистал ни чадолюбием, ни «заботливостью» в той степени, в какой блещет он и тем и другим в настоящее время. Правда, он всегда был добрый и ласковый отец; но чтобы так обременять себя вопросами, касающимися иногда самых мелких сторон детской жизни, детской души, детского будущего, – этого не было и в помине. Говоря откровенно, происхождение этой заботливости находится в тесной связи с одним не столько неприятным, сколько неожиданным эпизодом, случившимся в жизни Ивана Ивановича несколько лет тому назад.

Дело в том, что три года тому назад зимой, в пять часов утра, в квартиру Ивана Ивановича позвонили, затем вошли в кабинет и спросили: «Знаком ли он, и давно ли, с акушеркою N, запутавшейся, как оказалось, в каком-то непрактическом предприятии?» Иван Иванович, ободренный необыкновенной вежливостью и почтительностью, с которыми был предложен этот вопрос, оправился и с достоинством отвечал, что акушерку N он, точно, знает, так как семейному человеку трудно обойтись без этого знакомства, но что знакомство это основано только на профессии г-жи N, что никоим образом не может иметь ни малейшей связи с личными взглядами этой госпожи, так как Ивану Ивановичу якобы совершенно неизвестно, какие такие г-жа N имеет взгляды.

На том все дело и кончилось; все произошло вежливо и деликатно; деликатно до того, что, например, лицо, посетившее Ивана Ивановича, дабы не пачкать окурком папиросы очень изящную пепельницу, само открыло заслонку печки и, нагнувшись, бросило окурочек в самую

глубину. Наконец, чтобы замять неприятный разговор, лицо это обратило внимание на олеографию Куинджи¹ и выказало большой вкус к изящным произведениям, указав прикосновением кончиков пальцев к полотну картины несколько действительно блистательных, эффектных черт, касавшихся освещения. Повторяю, посещение прошло так тихо и любезно, что в Иване Ивановиче не могло и не должно было остаться после него ни малейшей тревоги. Кроме того, даже и высшее начальство того министерства, в котором служил Иван Иванович, только мимоходом и спустя долго после события, напомнило ему о нем, и притом с единственной целью ободрить. Словом, все и началось и кончилось превосходно, а Иван Иванович, несмотря на это... призадумался!..

Показалось ему, извольте видеть, что в левом глазу того высшего начальства, которое шутя намекнуло ему на неожиданное обстоятельство, что-то как будто мелькнуло, какая-то будто черта, и черта неожиданная. Правый глаз – Иван Иванович очень хорошо это помнит – ласкал и улыбался совершенно бескорыстно, искренне, а в левом глазу шмыгнуло что-то, шмыгнула какая-то неожиданная точка.

«Однако, – в ту же минуту подумалось Ивану Ивановичу: – шутки-шутки, а дело-то, кажется, ведь в самом деле...» На словах «в самом деле» Иван Иванович остановился, так как его внезапно осенила, даже поразила мысль: «А что, если все это – «в самом деле», то есть и акушерка, и визит, и то, что шмыгнуло в левом глазу? Что, если все это не случайность, не праздная игра воображения, а подлинные явления, имеющие какие-нибудь основания? Словом, опять-таки, что если все это – «в самом деле»?»

Мысль эта была так сильна своей внезапностью и значительностью, что Иван Иванович почувствовал, как горячая испарина разлилась у него по спине и выступила на затылке, и с этого же момента не иначе стал смотреть на явления действительности, как на такие, которые происходят в самом деле, имеют результаты и основания. Кроме того, если мы прибавим, что уверение Ивана Ивановича в том, будто бы он никаких убеждений г-жи N, акушерки, не знает, ложно, то читателю будет понятно, что Иван Иванович в самом деле должен был впасть в значительную озабоченность, сначала относительно собственной особы, а затем и относительно неразрывно связанного с ним семейства.

Впоследствии мы скажем несколько подробнее о том, к чему привели размышления Ивана Ивановича, основанием которых был рассказанный нами незначительный эпизод; теперь же мы должны сказать, что, не случись этого эпизода, и тогда Иван Иванович, как и всякий человек более или менее обеспеченный, не мог бы просуществовать без некоторой озабоченности уже по одному тому, что человек этот живет не двадцать пять лет тому назад, а в настоящие дни и годы. Двадцать пять лет тому назад вопросы личности и нравственности стояли прочно и ясно, или по крайней мере для всякого была совершенно ясна «ненужность» этих вопросов нравственности. Центром и идеалом жизни был барин, а нравственность заключалась в крепостном праве. Все, что не было ни барином, не нуждавшимся в нравственности по праву, ни мужиком, не разрабатывавшим этого тонкого предмета *по недосугу*, все, что жило «вокруг» барина и мужика, также не разрабатывало означенных вопросов, по ненадобности. Чиновник, говорилось в то блаженное время: – служи, купец – торгуй, шатун – шатайся. Вопрос: «как?» и другой: «зачем?» не могли стоять в общественном внимании на первом плане ввиду того, что, «выслужившись», «расторговавшись», человек мог отдохнуть, только сам сделавшись барином. Толкись, бейся, изловчайся в той тесной клетке, которую судьба отвела тебе на жительство, а выбьешься, достучишься, дотолкаешься – твое счастье. Все ясно и точно, определенно и покойно. С божьей помощью жизнь идет по торной колее. В то блаженное время Ивану Ивановичу – да и не одному ему – было жить легко. На душе не лежало бы никакой ответственности ни за один поступок, ни за одно помышление, раз они не выходили из пределов жела-

¹ Куинджи Архип Иванович (1872–1910) – русский художник-пейзажист.

ний дослужиться или расторговаться, то есть приблизиться к заветному идеалу. В воспитании детей родителю стоило только приводить в пример детям себя, свою неустанную заботу о благе своем и своей семьи, а самое благо было ясно, всем лезло в глаза.

Теперь – увы! – не то. С устранением этого, всем понятного, веками установленного представления о благе, олицетворенного барином, в нравственном мире русского человека образовалось пустое место, которое необходимо было волей-неволей чем-нибудь наполнить. Волей-неволей пришлось знакомиться с нравственностью. Всякому *попрежнему* предоставлялось право расторговываться и выслуживаться, но отсутствие идеала заставляло задумываться над вопросом: «зачем?» и за этим вопросом сам собою пришел другой – «как? каким путем?» Общественное внимание волей-неволей было заинтересовано вопросами о принципах чести, совести. Пришлось размышлять над этими вопросами – иногда против охоты и желания.

Иван Иванович Полумраков, как и масса его сверстников, застигнутых старыми временами на школьной скамье, и новыми – на первых путях жизненного поприща, не принадлежал к числу тех решительных натур, которые, однажды дав себе ответы на поставленные жизнью вопросы, продолжают твердо следовать им и идти до конца. Нет, не сделался он ни ярым либералом, ни ярим консерватором, а, благодаря мягкости своего характера, подчинялся влияниям времени, не слишком, выясняя настоящее и будущее и в то же время как бы не расставаясь и с симпатиями, вынесенными из прошлого.

Долгое время он очень чистосердечно и симпатизировал г-же N и одновременно с тем успевал по службе, и ни г-же N, ни начальству не казалось это странным. Иван Иванович, мягкий характером и духом, мягко принимал не очень еще жесткие влияния времени и жил, чувствуя себя порядочным человеком. Да не подумает читатель, что Иван Иванович, как говорят, «вилял» между этими влияниями. Ничуть. Он жил этими влияниями, принимал их и отсылался на них, но в тех размерах, каких требовали еще не совсем выясненные общественные явления. Явления эти были робки, неопределенны, атмосфера туманна, а Иван Иванович не особенно дальнозорок. Но то, что он видел, он принимал.

Так как речь наша касается специального предмета, именно *детей*, то мы не будем распространяться здесь о тех новых влияниях времени, которые Иван Иванович должен был принять в свое сознание, а ограничимся только теми, которые касаются избранной нами темы, и остановимся только на том новом, что уже вошло в круг современного воспитания детей, имеющих родителей с таким же более или менее обеспеченным положением, как и положение нашего Ивана Ивановича.

II

Нет никакого сомнения, что самую существеннейшею новизною в этом деле является присутствие, так сказать, народного элемента. Если новые времена, которые мы переживаем, именно только и новы, главным образом благодаря «новому» положению мужика, то разумеется, что влияние, или, вернее, какое-то легкое отдаленное дыхание этой новизны не могло не коснуться и того круга людей, который и вырос и держался на свете благодаря только старинному положению мужика. Из этой-то мужицкой новизны вышло все то новое, что обнаруживалось впоследствии в новизнах немужицких; отсюда вышли на свет и непрактическая акушерка, и непрактический студент, и ожесточенный ненавистник живых людей, и такие либеральные страдалцы, как мягкосердый Иван Иванович. Все эти представители новых времен, конечно, немедленно определили бы свою собственную задачу, определили бы ее с величайшей простотой и точностью, если бы самое новое и самое главное действующее лицо, открывшее новую эру жизни, вымолвило бы хоть единое словечко в объяснение того, чего, мол, желает оно теперь достигать. Если бы такое словечко было сказано, простота и вместе осмысленность жизни для всех сделалась бы ясною, всякому предлежала бы своя дорога, и, разумеется, не было бы сомнительных комбинаций в людских отношениях, не было бы того запутанного, тягостного, досадного и вообще в высшей степени мучительного положения, которое впоследствии пришлось переживать образованному обществу. Но драма началась и продолжалась, а главное действующее лицо молчало как мертвое.

Понятно, что такое положение дела ставило людей, подобных Ивану Ивановичу, в величайшее затруднение; приходилось почти только «чутьем» руководствоваться в собственных поступках, идти вперед без всяких определенных указаний. И точно, Иван Иванович не столько *знал* доподлинно о значении начавшейся драмы, сколько *чувял* это значение. Только этим чутьем и можно объяснить те маленькие новости в домашнем и общественном воспитании малых ребят, которые известны, наверное, всем, имеющим в числе своих знакомых таких чадолюбивых родителей, как изображаемый мною Иван Иванович. Нам кажется, что, именно благодаря этому чутью (практическая черта, наследованная от П. И. Чичикова), явилась на свет и эта простота обращения родителей с детьми, этот «папка» – вместо «папа», это «ты» – вместо «пожалуйста ручку». Отсюда же вышли эти токарные станки, эти ящики с сапожными инструментами в «благоустроенных семействах», этот скрип пилы в худеньких руках ребенка, для поправления здоровья которого по совету доктора ежедневно покупают какие-то особенные куриные яйца по баснословной цене. Все подобные эксперименты в народном духе производил над своими детьми и Иван Иванович, так как он хотя и не получал еще такого оклада, который бы позволил ему питать своих детей вышеупомянутыми золотыми яйцами, но принадлежал к числу людей обеспеченных или образованных и все-таки имел чутье и практиковал его.

Не раз, глядя на все эти сапожные шилья, гвозди и молотки, валявшиеся на паркетном полу довольно дорогой квартиры Ивана Ивановича, на эту дратву, топоры и рубанки, забиравшиеся иногда даже в гостиную, я подумывал над вопросом: к чему такой прочно поставленный человек, как Иван Иванович, разыгрывает всю эту комедию? Ведь не допускает же он всерьез мысли о том, чтобы его дети, содержание которых уже теперь, когда они едва в силах поднять обеими руками крошечный сапожный молоток, обходится втрое дороже содержания целой артели в пять человек не игрушечных, а настоящих сапожников, что они, эти *дорогие* дети, будут когда-нибудь «в самом деле» добывать себе хлеб сапожным молотком или шилом, или топором, или пилой? Думает ли он, что они когда-нибудь могут быть сапожниками, дроворубами, столярами?.. «Почем знать! – отвечивал на мои вопросы по этому поводу Иван Иванович. – А может быть!» Или еще проще: «Все может случиться!» Но, очевидно, это были, как говорится, не ответы; и только одно ничтожное обстоятельство, одна небольшая сценка,

свидетелем которой мне случайно пришлось быть в квартире Ивана Ивановича, дала мне некоторую возможность уследить «подлинное» направление мыслей Ивана Ивановича в этом деле.

Как-то однажды мне пришлось ночевать у Ивана Ивановича. Мы спали в его кабинете, выходявшем окнами на двор, и поутру проснулись рано, проснулись от необыкновенного тепла и необыкновенного солнечного блеска, наполнявших комнату до ослепления и духоты. Немедленно было открыто окно, в комнату пахнула теплая влага великолепнейшего майского утра, а вместе с нею со двора ворвались в комнату и чистый звук колокола, и какой-то веселый шум, и гам, и смех. Внизу, на дворе, очевидно происходило что-то такое же веселое, как веселы были день, небо, солнце, воздух. Иван Иванович, отворивши окно, повидимому залюбовался тем, что происходило на дворе, и при новом взрыве смеха торопливо позвал меня. Вот что там происходило. Дворники, кучера, конюхи, кухарки, горничные и прочий рабочий люд петербургского дома (из числа таких, где живут хорошие господа), кто с ведром в руке, кто с метлой, кто с лопатой и т. п. – все народ ражий, хорошо кормленный, хорошо выспавшийся – в разных позах остановились в разных пунктах двора и, как говорится, «помирали со смеху», хохотали без удержу, потешаясь над тем, что происходило вверху, в окне четвертого этажа. А там какой-то румяный, ражий детина, не то маляр, не то плотник, работавший в квартире, из которой господа начали выезжать на дачу, стоя на краю подоконника, держал в объятиях красивую, плотную, франтоватую горничную, которая вопила благим матом, не забывая в то же время почти ежеминутно наносить своему похитителю звонкие, сильные удары голой и крепкой рукой по физиономии – или нет, не по физиономии, а прямо «по морде».

Не обращая на эти удары ни малейшего внимания, ражий детина хохотал во всю пасть и, потрясая горничную над четырехэтажной бездной, орал, обращаясь к зрителям:

– Подставляй фардук, я ее кину!.. Эй, ребята, держи, подхватывай!

– Давай, давай! – азартно бросая метлу и потряхивая фардуком, во все горло откликнулся один из зрителей, дворник; – кидай! готово!

– Размахнись хорошенько! – советовали конюхи.

– Хватай! – орал детина, в самом деле размахиваясь горничной, как неодушевленным предметом.

– Дуй его, Авдотья, по морде! Чего он безобразничает! – визжали бабы.

– Авдось! обдерни хвост!

– Бей его!

– Махай ее через крышу!

Хохот неудержимый и искреннейший, визг горничной, чувствовавшей однако, что все это «в шутку» и «любя», звонкие оплеухи «в шутку», искреннейшее веселое оранье, хохот, остроты, румяные, оживленные здоровьем лица парня, и горничной, и публики, и ко всему этому солнце, блеск воздуха и неба, могучая сила и детская простота и в природе и в людях – все это так пленило Ивана Ивановича, что, отойдя от окна, он в сильном волнении мог только произнести:

– Пар-ршивая цивилизация!..

И сбросил рукою на пол только что принесенную и лежавшую на столе газету, впрочем, может быть, и не нарочно.

– Ну, где вы (предполагается: в этой цивилизации) найдете это... эту... – лепетал Иван Иванович и, не договорив фразы, опять произнес:

– Какое же сравнение с этой паршивой цивилизацией?

Эта сценка не была, конечно, поводом к полному уяснению взглядов Ивана Ивановича на необходимость введения в дело воспитания детей некоторых новинок в народном духе, но все-таки она дала некоторую путеводную нить к объяснению. Игра во все эти шилы, дратвы и топоры не была пустою комедией, а имела в основании почти определенный расчет. Дети Ивана Ивановича, очевидно, никогда не будут ни сапожниками, ни портными; за спиной их

никогда не будет болтаться мешок с куском черного хлеба и рубанком... Об этом Иван Иванович не допускал даже мысли. Но эта пила нужна для того, чтобы маленькие обеспеченные ручки были так же крепки, как и те, которые в силах играть горничной, как пером. Это дерганье дратвой расширяет грудные мышцы. В этом только отношении физического благополучия и понятна какая-то туманная вера Ивана Ивановича в необходимость какого-то внимания ко всему трудовому люду, вступившему на новый путь. Но, не понимая во всей широте значения этого влияния и только чутьем догадываясь о нем, мягкосердечный Иван Иванович, однакоже, и тут, как видите, умел извлечь некоторую *пользу для себя*, сумел, так сказать, взять с мужика взятку и принести ее в дом свой.

III

Недолго, однако, пришлось Ивану Ивановичу довольствоваться в своих житейских и служебных поступках исключительно чутьем, так как в некоторых отношениях явления действительности совершенно выяснились, вышли из тумана, и добираться до их, еще недавно темного, смысла ошупью уже не было никакой надобности: они стояли налицо. Пришлось серьезно обдумать свои к ним отношения. Иван Иванович начал испытывать эту необходимость и сознавать всю ее серьезность со времени известного уже нашим читателям эпизода, описанного в начале первой главы настоящего отрывка. Как только Иван Иванович убедился, что все совершающееся совершается *в самом деле*, исходит из известных причин, а главное (вот именно, где главное-то!) имеет известные результаты, вполне неминуемые, тотчас же ему пришлось определить собственные свои отношения к этим явлениям, пришлось обдумать их всесторонне, со всей искренностью и тщательно определить свое место в людском обществе. И тотчас же, как только Иван Иванович стал думать об этом серьезно и по совести, так напала на него тоска, в душу закрался ледяной холод, белый свет опостылел, и все его существо стало как-то «саднить» в бесплоднейших и вместе с тем тягостнейших страданиях.

Прежде всего, определяя свои отношения к начальству и припоминая знакомство с акушеркой, г-жой N, Иван Иванович сразу увидел, что он жестоко виноват перед начальством, что он из года в год обманывает его доверие, что он, одним словом, лжец, на которого в трудную минуту едва ли может это начальство положиться. Он убедился, что видел в начальстве только оклад, что не будь тут оклада, оно не имело бы такого преданного слуги, каким считался Иван Иванович. С другой стороны, припоминая свою служебную деятельность, которая оплачивалась хорошим окладом, Иван Иванович так же мгновенно убедился и в своей виновности перед акушеркой, так как, открывши ей всю подноготную, и все последствия своей деятельности, он должен был бы оказаться ее явным врагом, а вовсе не «сочувствующим», каковым его считала непрактическая и увлекающаяся г-жа N. Словом, в обоих случаях почтенный, добрый, мягкий и либеральный Иван Иванович вдруг, как только пришлось подумать серьезно, оказывался просто-напросто лгуном, да еще каким – корыстным! Разве все это не из-за оклада? Да! у Ивана Ивановича не оказывалось никаких нравственных убеждений. Он боялся потерять оклад, решительно не зная, на какую сторону в определившихся людских отношениях мог бы он стать по убеждениям. Не было у Ивана Ивановича никаких убеждений, никакой нравственности. Был только страх перед акушеркой, перед начальством и главное – перед окладом.

В эти минуты было жалко смотреть на Ивана Ивановича, особенно в отношениях его к детям. Однажды в кабинете у него совершенно случайно столкнулись: эта самая акушерка N, генерал из того министерства, где Иван Иванович служил, и студент-технолог в высоких сапогах. Иван Иванович вертелся на своем кресле как на иголках, чувствуя, что настала минута, когда надобно «дать ответ», то есть при малейшей случайности в разговоре о текущих событиях необходимо поступить беспристрастно и по совести. На беду Ивана Ивановича в комнату вбежал его шестилетний сын и задал один из неожиданных детских вопросов. Что было делать Ивану Ивановичу? С одной стороны – студент и акушерка, а с другой – генерал. Иван Иванович вспыхнул и вывернулся, сказав: «Чаю! чаю! скажи, чтобы чаю нам давали! Философ!» И, таким образом, выпроводил ребенка вон, оставшись невредимым.

Но, оставаясь до некоторой степени невредимым лично, Иван Иванович чувствовал, что относительно своих детей он поступает безнравственно. Свои житейские связи и отношения он еще мог кое-как, с грехом пополам, оправдать тем, что у него на плечах семья. Ради семьи он тянет ляжку, хотя «сочувствует». И если поступает при этом не совсем добросовестно и искренно, то опять же потому, что у него семья, что он не один. Но, принося такие жертвы ради семьи, естественно было подумать о том, что же получает в самом деле эта семья? И

тут Иван Иванович совсем терял голову, прежде всего потому, что себя, свою деятельность он никоим образом не мог бы рекомендовать детям: это значило рекомендовать искусство лгать из-за оклада; сказать же что-нибудь по совести – боялся. Дети росли поэтому в какой-то невозможнейшей атмосфере либеральных недомолвок и умолчаний по самым существеннейшим вопросам нравственности. А нравственность – в этом Иван Иванович убеждался с каждым днем все более и более – необходима. Начинается жизнь, жизнь «в самом деле», и чтобы перенести ее случайности, недостаточно одних крепких мускулов, румяных щек, а нужно нечто сильнее их. Но Иван Иванович не мог дать ничего подобного. Ничего подобного не давали ни пила, ни дратва, ни станки, ни детские сады, ни кубики, ни «жестяник», ни плетение, ни клеение, ни молотки, ни загадки, ни ребусы, ни анаграммы и проч. Иван Иванович пробовал было углубиться в область современной печатной педагогики, но, во-первых – приходилось зарыться в книгах, которым нет конца и края, а во-вторых – Иван Иванович на первых порах встретил тут такие вещи, которые совершенно охладили его намерение что-нибудь позаимствовать у педагогики. Так, в одном из самых почтенных педагогических журналов, пользующихся упроченною репутациею, Иван Иванович натолкнулся на следующую *живую беседу* (как сказано в журнале) учителя с учениками по поводу молитвы господней. *Учитель*: «Где бог?» *Ученик*: «Везде». *Учитель*: «А особенно?» *Ученик*: «На небе». Учителю, который, как видно из статьи, не желает, чтобы ученики *задалбливали слова*, необходимо помощью *живой беседы* выяснить основательность именованного бога *отцом небесным*, и вот он, как видите, смотрит на это наименование только как на *имя прилагательное*. О дьяволе беседы еще проще. *Учитель*: «Кто нам более всего делает зла?» *Ученик*: «Дьявол!» И все тут. Без рассуждений и разговоров, просто оказывается, что существует дьявол и делает людям вред.

Итак, где же добыть этой нравственности? Каким способом в душе подрастающего молодого поколения образовать тот прочный, нравственный фундамент, который выдержал бы то, что время воздвигнет на нем? Иван Иванович думал только об этом фундаменте, а о том, что выстроить на нем – не решался думать, умывал руки, да и не мог он предвидеть, что будут строить: жилой ли дом или гауптвахту, тюрьму или храм – лишь бы устоять под напором тяжести. Долго думал Иван Иванович, но, наконец, придумал.

Он решил так: Анна Петровна, его жена, с детьми большую часть года будет проводить в деревне, а он, Иван Иванович, всецело отдастся служебным обязанностям – да и не обязанностям вовсе, а просто служебному заработку... Иван Иванович решил лечь грудью в эту ляжку для того, чтобы со временем приобрести собственную усадьбу, а с нею и прочную почву как для себя, так и для потомства.

Итак, как видит читатель, этот план насчет деревни, усадьбы и т. д. просто-напросто означал только то, что Иван Иванович, не найдя в себе никакой нравственности и не найдя ее в педагогических лучинках и бумажках, решил, повинувшись тому же, наследованному от П. И. Чичикова практическому чутью, *позаимствоваться* означенной нравственностью у мужика. Позаимствовать и утащить в дом свой. Но, увы!..

Впрочем, так как опыт с позаимствованием у мужиков нравственных начал частью происходил на моих глазах, частью известен мне из обстоятельных рассказов Ивана Ивановича и, наконец, так как опыт этот представляет некоторый интерес вообще, то я позволю себе сказать о нем несколько подробнее.

IV

Решив «позаимствовать», Иван Иванович всю зиму довольно прилежно следил за газетными объявлениями: не отдается ли где в аренду помещичья усадьба? И к концу зимы таких объявлений было найдено довольно много. Усадьбы отдавались и в степях, и в глуши непроходимой, и по всем линиям железных дорог. Иван Иванович выбрал несколько адресов таких усадеб, которые лежали не слишком далеко от Петербурга, так – часах в семи, и не слишком близко к железной дороге, то есть «к цивилизации», которую он не иначе представлял себе в настоящее время, как в виде какой-то непрестанной необходимости врать с утра до ночи.

Решено было осмотреть эти усадьбы тотчас, как только мало-мальски стает снег. Но так как в то время в Петербурге весну *сделали* ранее обыкновенной месяца на полтора, то в половине марта в булочных уже появились жаворонки, а в начале апреля уже приходилось приниматься за поливку улиц, потому что появилась пыль... Ввиду всего этого, едва только прошла святая неделя, как Иван Иванович и я, приглашенный им, тронулись в путь.

Мы выехали с вечерним поездом, а в шесть часов утра должны были выйти на одном маленьком полустанке и затем на лошадях ехать верст за двенадцать в усадьбу, которую предполагалось осмотреть, а если понравится, то и нанять. Поистине какая-то детская радость охватила нас обоих, едва мы очутились в вагоне, и не покидала нас вплоть до следующего вечера, когда мы опять вошли в вагон, чтобы возвратиться в Петербург. Я, несомненно, был заражен этим детски-радостным расположением духа благодаря Ивану Ивановичу, которому в самом деле было отчего радоваться. Все нравственные муки, все неразрешимые нравственные загадки для него оканчивались с поселением в деревне. Она, эта самая деревня, должна дать детям Ивана Ивановича, во-первых – физическое здоровье, которого не дадут ни гимнастики, ни прогулки в скверах, ни дорогие доктора. Деревня даст все это так, задаром. Во-вторых – она даст необходимые прочные начала нравственности. В то время когда ни педагогия, ни тем менее сам Иван Иванович не могут просто и ясно познакомить детей, с причинностью явлений и человеческих отношений, деревня даст все это, простосердечно передав детям теплую веру в бога и зародив, таким образом, зачаток связной мысли, пробудит искренность чувства и даст ему пищу в простоте и деревенской откровенности человеческих отношений. В-третьих – она же, эта самая деревня, уничтожит ненужное и губительное в детях сознание неравенства между людьми, которого нельзя никоим образом избежать в столице. Дети будут в толпе крестьянских детей приучаться жить в обществе человеческом, начнут понимать, что такое жизнь.

Словом, Иван Иванович, решив «позаимствовать», черпал в своих планах, конечно, щедрою рукою из непочатой деревенской жизни. По крайней мере по пятнадцати существеннейшим вопросам деревня должна была позаботиться услужить измучившемуся в бесплодных страданиях Ивану Ивановичу. И мы были ужасно рады, что обуза, наконец, снята с плеч или будет снята в самом скором времени. Петербург и вообще «*паришная цивилизация*», само собою разумеется, подвергались величайшей критике, так как они решительно не дают ни малейшей возможности к мало-мальски здоровому нравственному развитию и совестливому существованию на белом свете. «Что такое, в самом деле, эта хваленая цивилизация, этот великолепный Петербург? Одна ложь – больше ничего! Вранье, жадность и ложь с утра до ночи». Иван Иванович приводил в пример себя: оказывается, что он, например, «ничего иного не делает, как врет направо и налево, с утра до ночи, конечно если смотреть на дело беспристрастно. Тогда как деревня...» Но, попав на дорогу всевозможных сравнений, мы до такой степени были подавлены обилием материала, что стали перескакивать с одного предмета на другой, хвататься за что попало, и пусть поэтому читатель извинит, если найдет в отрывках этих сравнений, следующих ниже, недостаток последовательности в мыслях, а иногда, повидимому, и просто бессмыслицу, это так только кажется, глядя поверхностно; на деле же нами

руководила совершенно ясная для нас мысль, именно: в Петербурге, вообще в городе – все ложь, а в деревне – все правда. Ложь – вся эта жадная ежедневная суэта, этот шум и блеск, все – ложь. Солдаты идут с барабанным боем – ложь! Чиновник с портфелем бежит, как помещанский, – ложь! Барыня с собачкой – чистая комедия! А в деревне нет ни стука, ни грома, ни блеска; все здесь чистосердечно и правдиво. Вон на горе храм, бедная сельская церковь... трогательный жалобный звук колокола... искренние слезы старушки... кресты над могилами истинных тружеников... Пастырь, седенький старичок, идет по косогору... с палочкой... все просто, хорошо, правдиво!.. И солнце светит приветливо. А в Петербурге? А в Петербурге, чтобы солнце-то видеть, – и то надо ехать на лошадях верст за двадцать, на «пуант»; да и на пуанте-то оно закатывается не в море, а за полицейскую будку. Нечего сказать, природа! А в деревне действительно если природа – так природа, а не будка; лошадь – так лошадь, овца – так овца; ветер, птица на ветке, рыба в речке, козел, баран, или, например, дерево – все это натурально, просто, все сущая правда. Это вовсе не то, что какие-нибудь кубики, лучинки, плетение и вообще всякая ерунда.

До глубокой полуночи продолжали мы разговаривать, делая эти несколько беспорядочные, но в высшей степени оживленные и яркие параллели между лживыми явлениями цивилизации, которая олицетворялась Иваном Ивановичем в виде неусыпающего лганья, и деревенскими добрыми и простыми нравами. Я не привожу их во всей подробности, потому что боюсь утомить читателя; но, говоря вообще, в пользу деревни оказалось такое множество всевозможных преимуществ, что более или менее понимающему человеку, вроде Ивана Ивановича, было бы просто глупо не пожить чем-нибудь у такой богачки, как деревня.

Радостное состояние наше, прерванное на несколько часов сном, вновь возобновилось утром, когда мы, наконец, доехали до станции, где должны были выйти. Было чудеснейшее весеннее утро. Весна была в самом начале, вода бешеными потоками бурлила в оврагах и бойко, непрерывно журчала, под рыхлыми, но еще толстыми слоями снега, которого везде – и в поле и на дороге – было довольно. Выйдя на крыльцо станции, мы были поражены необыкновенной тишиной, в которой отчетливо слышалось стоявшее в воздухе непрерывное журчанье – точно щебетанье – таявшего снега. И небо было молодое, даже молоденькое, и деревья влажные – точно выкупавшиеся и отдыхающие. А воздух! воздух так и ломил в грудь, ломил такую массу здоровья и свежести, что не хватало крови и легких, чтобы поглотить ее. Он пьянил, утомлял.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.